

От редактора

«Подвиг», четвертый роман Владимира Набокова, сочинялся в Берлине в 1930 г. 17 августа этого года Набоков писал редактору парижского журнала «Современные записки» И. И. Фондаминскому:

Зимой же я вам представлю большой роман из «эмигрантской жизни», — я уже написал около полутора ста страниц, и осталось, вероятно, столько же; он будет, может быть, называться «Золотой век», — я еще не знаю, очень какая-то бодрая вещь, без «страшного мира Сирина», как кто-то писал.

Роман был закончен к ноябрю 1930 г.; в следующем году, наряду с публикацией отрывков из него в эмигрантских газетах, он был полностью опубликован в нескольких номерах «Современных записок». Отдельной книгой «Подвиг» вышел в 1932 г. в издательстве «Современные записки» (Париж). Печатается по этому изданию. Английский перевод романа под многозначным названием «Glorу» (слава, триумф, победа, великолепие, расцвет), подготовленный автором вместе с сыном Дмитрием, увидел свет в 1971 г.

«Подвиг» был переиздан в «Ардисе» (Анн-Арбор) по тексту первого издания в 1974 г.

ПОДВИГ

Роман

Посвящаю моей жене

I

Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец, — рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятих годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатым брелоками (из которых самый занимательный — кинжал с ноготок), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция нешуточная, пациент

должен был замереть надолго, — еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописси объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях, — дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смиренно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того чтобы поживиться обстановкой, музички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал кожные болезни, был знаменит, — тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую и все привередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щел-

ками в удлинённых мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Ещё недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде «Энфильд» по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англоманкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где, уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намыливающая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью ещё чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжельных, туго спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна как чумы боялась «Задушевного Слова» и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелией дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канопе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за со-

бой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим — нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой, и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ерусланом, а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения.

II

Над маленькой узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги — лаково-коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молю, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, — и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же, ты думаешь, случилось дальше?» — был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому

всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски — «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», — а затем «Отче Наш» по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку — что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, — Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излучи тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, — хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству

название, — знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «дровосек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже — печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой — простой и пресной.

И все шло Мартыну впрок — и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, — та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клубочке; и Синдбад, в красном платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змий, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; и как отголосок всего этого, как чем-то

родственный образ — чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов, — на Невском проспекте, в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек.